

3. Григорьев, А. Воспоминания / А. Григорьев; под ред. Б.Ф. Егорова. – Ленинград, 1980.
4. Егоров, Б.Ф. Художественная проза Ап. Григорьева / Б.Ф. Егоров // Григорьев А. Воспоминания / под ред. Б.Ф. Егорова. – Ленинград: Наука, 1980. – С. 337–367.
5. Майков, В.Н. Сочинения в 2-х т. / В.Н. Майков. – Киев, 1901. – Т. 1. – С. 13.

6. Михеев, М.Ю. Дневник в России XIX–XX века – эго-текст, или пред-текст / М.Ю. Михеев. – Москва, 2006.

7. Николина, Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы: учебное пособие / Н.А. Николина. – Москва: Флинта Наука, 2002. – 424 с.

Рецензент – Н.Н. Постникова, кандидат филологических наук, редактор редакционно-издательского отдела ВоГУ.

A.N. Larionova

GENRE FEATURES OF THE PAGES FROM THE MANUSCRIPT OF A WANDERING SOPHIST STORY BY A.A. GRIGORYEV

The article considers the *Pages from the Manuscript of a Wandering Sophist* story by A.A. Grigoryev in aspect of genre affiliation. It is concluded that the *Pages from the Manuscript of a Wandering Sophist* story by A.A. Grigoryev has the basic features of a diary. The form of presentation of the text of this story is a monologue addressed by the author to himself with no proofs of literary devices use; events are described from insignificantly remote time perspective; the story is divided into numbered chapters and each of them narrates about the events of a single day; events which are described in the story correspond to the real facts.

Genre, chronotope, diary, A.A. Grigoryev.

УДК 82.09



Ю.В. Розанов

Вологодский государственный университет

ОЧЕРК А.М. РЕМИЗОВА «ЦЕНТУРИОН»: ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

В статье рассматривается мемуарный очерк А.М. Ремизова «Центурион», посвященный памяти И.С. Шмелева, как в содержательном аспекте, так и в плане поэтики. Особое внимание уделено контексту произведения, включающему в себя специфику личных отношений названных писателей и малоизвестные реалии литературной жизни русской эмиграции в послевоенные годы.

«Первая волна» эмиграции, культурно-исторический контекст, комментарии, ирония, русский литературный язык.

Творчество И.С. Шмелева и А.М. Ремизова уже не раз становилось предметом сравнительного рассмотрения как в плане историко-философских концепций, так и в плане поэтики¹. В центре нашего внимания мемуарный очерк Ремизова о Шмелеве «Центурион» – единственный развернутый отзыв одного писателя о другом.

Над очерком о Шмелеве Ремизов работал в 1951 году, предполагая напечатать его к первой годовщине смерти писателя, однако к скорбной дате закончить его не успел. 16 августа того же года он написал Н.В. Резниковой: «Я не забываю о тексте, сейчас кончил о Шмелеве» [5, с. 85]. «Центурион» был опубликован в нью-йоркской газете «Новое русское слово» только 5 октября 1952 года, очевидно, к дню рождения Шмелева. При жизни автора состоялись еще две публикации – в 1953 году в мемуарной книге Ремизова о «русском Париже» «Мышкина дудочка» и под редакторским названием «Отрывок из воспоминаний» и со значительными купюрами в 1956 году в мемориальном сборнике «Памяти Ивана Сергеевича Шмелева»².

¹ Павловский А.И. Две России и единая Русь (художественно-философская концепция России – Руси в романах А. Ремизова и И. Шмелева эмигрантского периода) // Русская литература. 1995. № 2. С. 47–71; Карпенко И.Е. Мифопоэтическое пространство автобиографической прозы Ивана Шмелева и Алексея Ремизова // И.С. Шмелев и литературный процесс накануне XXI века: сборник материалов международной научной конференции. Симферополь, 1999. С. 59–61; Блищ Н.Л. А.М. Ремизов и русская литература XIX–XX вв.: рецепция, рефлексия, авторефлексия. Минск: БГУ, 2013. С. 63–72.

² Ремизов А. Мышкина дудочка. Париж: Оплешник, 1953. С. 151–158; Памяти Ивана Сергеевича Шмелева. Мюнхен, 1956. С. 61–64.

В композиционном отношении текст «Центуриона» делится на две части: конспективный «очерк жизни и творчества», включающий субъективные оценочные характеристики, и заключительный «анекдот», основанный на реальном эпизоде из послевоенной жизни писателей. В первой части произведения автор последовательно соблюдает параллелизм писательских судеб, заявленный в коротком вступлении: «Вспоминая Шмелева, говорю и о себе, потому что оба мы вышли на свет Божий в литературу, родились и росли на одной земле» [7, с. 128]. Такой «поколенческий» подход требует небольшого уточнения. Ремизов пишет: «Шмелев старше меня на два года, – два года не в счет, смотрю на него как на сверстника» [7, с. 128]. Мемуарист полагает, опираясь на слова самого Шмелева, что писатель родился в 1875 году. (Сам Ремизов родился в 1877 г.) Известно, что Шмелев неоднократно уменьшал свой настоящий возраст. В письме к О.А. Бредиус-Субботиной от 14 октября 1941 года он, например, делает себя моложе сразу на четыре года: «Да, мой возраст. Я родился в 77, как твой папочка, 20 сент.» [10, с. 158]. Такое, как кажется, максимальное расхождение с истинной датой объясняется особенностями эпистолярного романа с молодой женщиной. Ремизову же Шмелев сообщил не такую фантастическую, но тоже не подлинную дату своего рождения. (Невольная ошибка писателя не отмечена современными комментаторами «Мышкиной дудочки».)

Более широкий контекст требуется для правильного понимания другого высказывания Ремизова. В первой части очерка автор выносит резкий и, как кажется, несправедливый приговор своему герою: «Шмелев далек искусству слова» [7, с. 130]. Свой выпад Ремизов пытается смягчить и самоуничижительной формулой, стоящей в начале текста, т.е. в сильной позиции («Я не сравниваю себя со Шмелевым... – имя Шмелева большого круга»), и использованием местоимения «мы» в непосредственно предшествующей суровому вердикту фразе («Мы “такари” и “потомули”, для нас первое смысл, а как написано... не спрашивается»), и лестным сопоставлением Шмелева с Толстым в последующем абзаце («Хороша метель у Толстого, и Шмелевская хороша») [7, с. 128, 130]. Но все было тщетно: большинство читателей и критиков расценили заявление Ремизова как грубость, особенно неуместную по отношению к недавно умершему писателю. Многие в этой непростой ситуации объясняют взгляд Ремизова на генезис русского литературного языка. Писатель искренне считал, что язык русских писателей начиная с XVIII века стал развиваться не по канонам «природного лада русской речи», а по нормам иностранных грамматик, следовательно, все наши писатели писали и пишут «не совсем по-русски». В последние годы жизни Ремизова эти «обличения» стали особенно резки, что немало смущало и раздражало коллег по цеху. В сентябре 1954 года Г. Адамович с нескрываемым злорадством сообщал Вере Буниной: «Зато читал я новую книгу Ремизова, где одна фраза начинается так: “Словесно-бездарный Толстой...” Алданов чуть не получил удара, когда я ему этот пассаж показал» [1, с. 125]. В этом контексте резкость Ремизова становится более понятной.

Параллелизму писательской судьбы Шмелева со своей собственной жизнью в литературе Ремизов находит символическое и, вместе с тем, остроумное выражение. Он обыгрывает адреса домов в Москве и в Париже: «Оба мы замоскворецкие, одной заварки: купеческие дети³. И домами соседи: дом подрядчика Шмелева и дом второй гильдии купца Ремизова, а между нами исторический Аполлона Григорьева (Аполлон Александрович Григорьев, 1822–1866, “органическая” критика, что по-современному “экзистенциальная”»)» [7, с. 128]. «Последние годы мы, как когда-то в Москве, снова сошлись на одной улице – я в № 7 Буало, Шмелев на другом конце – 91-ый. Между нами до оккупации Сирин-Набоков (№ 73)» [7, с. 131]⁴.

Ремизов как бы подчеркивает, что они со Шмелевым на одной улице русской литературы, но не рядом, не в одном стилевом русле. Между ними и существенные различия («экзистенциальная критика»), и новое поколение русских писателей в лице В. Набокова. Эти разделители, быть может, и случайны, но они есть.

Ремизовская добродушная ирония по отношению к Шмелеву появляется уже в первой части очерка. Автор замечает, что его герою было свойственно какое-то «необыкновенное пристрастие» к титулованным и высокопоставленным лицам: «У него голос менялся: “вчера весь вечер читал мой рассказ Великому Князю”. Или “зашел ко мне генерал Деникин”» [7, с. 132]. Ремизов использует эту невинную слабость Шмелева для небольшой мистификации в своем духе: он раздает простым русским женщинам, которые жили неподалеку и вели его хозяйство, различные титулы и в таком качестве представляет их Шмелеву: «И чтобы доставить удовольствие, я всегда в письмах прибавляю титул: “Баронесса Екатерина Даниловна Унбегаун”, Нина Григорьевна Львова – “княжна Львова”, Анна Николаевна Полякова – графиня...». Однажды, когда Анна Николаевна, посланная по какому-то делу к Шмелеву, вернулась от него, между ней и Ремизовым состоялся такой разговор: «“Ну, как, говорю, Иван Сергеевич?” – “Очень любезен. Только неловко: всё меня графиня-графиня. Вы ему что-нибудь написали?” – “Ничего не писал, это он из уважения”» [7, с. 132].

Не должен остаться без внимания комментатора и заключительный почти комический эпизод «Центуриона», давший название очерку. Сюжет его в кратком изложении таков. Жаркий летний день в послевоенном Париже. (Косвенным указанием на 1946 год являются слова: «...тогда еще можно было получать из Америки посылки без пошлины».) В ремизовской

³ В письме к Ю.П. Одарченко от 23 августа 1949 года Ремизов уточняет свое сословное происхождение: «Муфтий [И.А. Бунин] путает меня со Шмелевым, но он не представляет себе, из какой я культурной семьи, да миллионеров, но ничего общего с Островскими традициями» (Письма А.М. Ремизова к Ю.П. Одарченко / публикация А.М. Грачевой // Наше наследие. 1995. № 33. С. 99).

⁴ По-своему эту топографическую близость российских писателей в Париже отмечает Б.К. Зайцев в мемуарном очерке «Возвращаясь от всенощной»: «Я довольно давно заметил, что четыре старых русских писателя, все из Москвы, все Россией рожденные и в ней сложившиеся, живут по линии метро Pont de Sevres – Motreuil. Бунин ближе всех к центру, затем Ремизов, Шмелев, дальше всех я». (Зайцев Б.К. Собрание сочинений: в 5 т. М., 1999. Т. 6 (дополнительный). С. 254.)

квартире на улице Буало обычные посетители из ближайшего окружения писателя. Легкий сюрреалистический налет происходящему придает присутствие странного литератора Владимира Унковского по прозвищу «Африканский доктор», который читает хозяйну дома свои «черные авантюры», воспоминания о жизни в Дагомее: «Как сейчас вижу покойного короля.., я сижу в его экзотическом дворце: так я – так король, друг против друга, и пьем пальмовую водку...» [7, с. 133]. Этому ремизовскому другу и персонажу нескольких книг писателя критик Андрей Седых дал такую характеристику: «Субъект придурковатый, всегда что-то монотонно бубнивший» [9, с. 109]. «Африканскую» идиллию нарушает появление необычайно оживленного Шмелева: «Без пальто и фланелевого шарфа, не жалуясь на подложечку, игриво сосредоточенный, словно апельсин чистя, вошел он в “кукушку” [в комнату с часами-кукушкой] <...> Он только что окончил поэму “Центурион”. – “Вы прочтете?” – Но он и без моего, не присев, остался вдохновенно стоять... Солдаты, проходя мимо храма Весты, решили переночевать. При храме живут весталки. Таинственные рощи окружают храм. Так начинается поэма – ритм стихов в марш. <...> И в эту минуту, когда целомудренные весталки начали, как скажет княжна Львова, гуртом “отдаваться” грубой силе солдат и комната зазвучала на голоса птичника, Шмелев мастер по-птичьему, вошел Вадим Андреев. <...> Шмелев оборвал измученную экстазом перепелку. <...> В память друга и его сына-поэта Шмелев снова начал свой марш Центуриона: солдаты, проходя мимо храма Весты, решили переночевать. <...> Для Андреева Шмелев читал – в ударе. И перебесилась ночь. С какой нечаянной радостью встретили весталки утро. С песнями покинули солдаты храм Весты». В этот момент появляется новый гость – друг и сосед Ремизова востоковед Василий Петрович Никитин. Продолжая игру в титулы, писатель представляет нового гостя как очень важную персону: «...бывший умрийский консул, почетный легион и все персидские наречия от древнего пехлеви до современной арабской прослойки, эмир обезвельволпала». «И когда я познакомил Шмелева со знатным, большой был соблазн снова начать Центурион. И если бы не африканский доктор – африканский доктор напомнил Шмелеву, что аптеки скоро закроются, и Шмелев вдруг схватился и заспешил: он всегда принимал какое-нибудь лекарство и когда болело и для предупреждения» [7, с. 134]⁵.

Эротическая поэма Шмелева, на исполнении которой автором Ремизов и построил свой анекдот, долгое время была неизвестна исследователям. Ее полный текст был обнаружен в письмах писателя. Поэма называется не «Центурион», как запомнилось Ремизову, а «Петухи». Хотя и центурион в ней фигурирует: «В тот безумный час разгула, / сея топ, и бряк, и звон, / шла когорта с караула, / вел ее центурион» [11, с. 491]. Это произведение, столь нехарактерное для «православного писателя», может быть правильно

понято только в контексте романа в письмах с молодой поклонницей Шмелева Ольгой Бредиус-Субботиной, которой «Петухи» и были посвящены. Историю создания поэмы и свое собственное состояние в эти дни Шмелев достаточно подробно описывает в письме от 17 августа 1946 года, уже после того, как произведение было доставлено адресату: «Не разжигаю я в себе похоть... ты *так* (здесь и далее выделено Шмелевым. – Ю. Р.) владеешь мною, *зовя* меня (так и слышу в себе, в теле, и оно слышит и так отзывается). <...> Толкнувший твоим письмом (от 3-го?) где ты писала, что можешь быть весталкой, я в думках о тебе (я все звал тебя, почему-то, лежа на диване (твоём), стал думать о весталках... об Овидии (его “Метаморфозах”) и – прошептал первые строчки: “Вечер марта, в храм весталок...” и т.д. Меня завлекло, я сел к столу (10-го вечером) – и, все *зовя* тебя, написал все почти. <...> Я горел, сгорал... я *видел* тебя... я *брал* тебя. И всю половину ночи я был с тобой» [11, с. 505]. Впрочем далее Шмелев сообщает, что потом он несколько смягчил «метаморфозу», а то «первый вариант был почти что непристойный». Но и смягченная редакция поэмы напугала возлюбленную писателя. В ответном письме ощущается тревога по этому поводу: «“Петухи” я (не обижайся), не перечтя 2-ой раз, подальше убрала. Я знаю, что они многое погубят» [11, с. 513]. Удивительно, что эту интимную, для двоих предназначенную вещь Шмелев счел возможным прочесть публично. Но такова уж природа художника... Послал писатель «Петухов» и своему другу «православному философу» Ивану Александровичу Ильину. (Причем в том же самом письме от 4 ноября 1946 года, в котором давалась оценка творчества Ремизова.) В сопроводительной записи Шмелев представил поэму простой шалостью, но при этом прозрачно намекнул на истинную причину ее возникновения: «А пока, чая, что Вы, милые в горах и высях, потешу Вас (только Вас: Наталии Николаевне “запрещено цензурой”!). Вы, м.б., и распекете меня, и все же и поулыбнетесь... Но – это передышка моя, разгулка. И почему такое вышло?.. Очевидно, по Фрейду (шулеру, вообще!), “разряжение комплекса”» [2, с. 445–446]. И, хотя в посланном Ильину варианте были убраны все упоминания о Бредиус-Субботиной (сняты оба посвящения), проницательный философ, конечно, догадался обо всем. Ольге Александровне Шмелев по понятным причинам ничего не написал ни о своем чтении у Ремизова, ни о посвящении в «тайну» Ильина.

Эта история, похоже, через полгода косвенно отразилась в переписке Шмелева и Бредиус-Субботиной. Ильин, проживающий в Германии, сообщил Шмелеву, что Ольга Александровна, живущая с мужем в Голландии, просит у него парижский адрес Ремизова: «Зачем это Ольге Александровне адрес Ремизова? Не дам, не пошлю. Он перешел на сторону мучителей, а почему и зачем он это сделал, это мне безразлично» [3, с. 71]. Ремизов в конце 1946 года принял советское гражданство, что испортило его отношения не только с Ильиным и Шмелевым, но и с очень многими представителями русской диаспоры. В дневнике Ремизова появляется горькая запись: «Из 1947 г. Мне памятливы три крепких отзыва: “ретро-

⁵ В.П. Никитин позднее вспоминал, что встречал Шмелева у Ремизова «во время гитлеровской оккупации и с удовольствием слушал его русскую речь». (Никитин В.П. «Кукушкина» (памяти А.М. Ремизова). Воспоминания // Ремизов А.М. Павлиным пером. СПб., 1994. С. 222.)

град”, “подлец”, “советская сволочь» [4, с. 90–91]. Здесь следует указать, что поначалу Шмелев, хорошо зная нетерпимость Ильина ко всему советскому, очень осторожно сообщил ему о «перемене» с Ремизовым. Шмелев так искусно расставил акценты, что Ремизов выглядел скорее жертвой советских спецслужб, чем «предателем и перебежчиком». По сути дела, Шмелев сочинил мелодраматическую историю о коварно обманутом советскими властями писателем-эмигранте, несколько изменив конкретные факты. В письме от 11 ноября 1946 года он рассказал ее Ильину: «Грустное известие... но должен осведомить, чтобы Вам не напереврали. Жалею человека сего. Ремизов взял сов<етский> пачпорт. Ему надо было узнать о дочери в Киеве. Сказали ему, – иначе не узнаете, без пачп<орта>. <...> Запутали человека... Дочь “умерла от разрыва сердца”, в октябре 43 г. – !!? <...> Не они ли и убили-то...?» [2, с. 493–494].

Известие, что его возлюбленная интересуется Ремизовым, вызвало сильный гнев писателя. 20 марта 1947 года Шмелев пишет Ильину: «Теперь о запросе Ольги Александровны. Взорвало меня! Меня она избегла, побоялась, что я “разгадаю” – “зачем”. Не посмела. И вот обходно. <...> Я ей разгонку у-стро-ю!.. Адрес-то она узнает в подсоветской газетчонке, напишет! <...> Я теперь и Ремизова не жалею. М.б. очень невысоким ведом был... – есть такие намечки» [3, с. 79]. На следующий день (21 марта) Шмелев пишет большое письмо возлюбленной, в котором и устраивает обещанную «разгонку». Он обвиняет Ольгу Александровну в нарушении этических норм. Она якобы хотела «выразить восторг» Ремизову по поводу доверенной ей Шмелевым рукописи книги Ильина «О тьме и просветлении» и получении им советского паспорта, а также по поводу предполагаемого обращения писателя на родину. В связи с последним обстоятельством Шмелев излагает свой новый взгляд на Ремизова: «Я не видал его с 1 декабря – и не увижу; его дело – его, мое – мое. М.б. и из – “юродства”. М.б. и трагедия... – там-то он, вообще, как писатель не нужен, курить [в смысле курить фимиам советской власти] он не может. Да и “загораться”... – он сырой. Я... могу воспламениться...» [11, с. 619]. Признание в собственной возбудимости уже имеет прямое отношение к нашему основному сюжету – к очерку Ремизова «Центурион». Через день (динамика дат здесь имеет значение) Шмелев с удовлетворением сообщает Ильину о проведенной им педагогической работе: «И об “адр<есе> Р<емизова>” – внушение! <...> И – пять предположений! Из них одно – “выразить восхищение”? Всякий, конечно, может, его право. Но... “не ссылаясь на «О тьме и просветлении»”! – это было доверено! “Без согласия автора – нельзя”. Да и остальных предположений коснулся чуть: “сочувствие и одобрение по случаю «смены кожи»”...? и проч., словом, вон-зил!.. Надо же учить» [3, с. 86]. Педантичный писатель называет здесь «пять предположений», т.е. пять причин, по которым он был недоволен возможными отношениями между Бредиус-Субботиной и Ремизовым, но фактически раскрывает обоим своим корреспондентам только две из них. Третья причина и так совершенно очевидна – ревность. А вот четвертая или пятая, вполне вероятно, связаны с опасением

Шмелева, что Ольге Александровне, если у нее завяжется переписка с Ремизовым, станет известно о чтении «Петухов» на улице Буало.

В одном из процитированных здесь писем Шмелева говорится об эмоциональной холодности Ремизова – «он сырой». Действительно, стилизованная «под Овидия» эротика шмелевской поэмы не увлекла мемуариста, что и нашло отражение в тексте ремизовского очерка: «Выражаясь по-ученому, скажу мое впечатление: “драстические сцены – дериват эротического сюжета” мне показались такими скромными и без всякого матросского забора, все было построено не по “Луке”, а смахивало на “Карташева”...» [7, с. 133]. «Лука» здесь – это, конечно, знаменитый «Лука Мудищев» – анонимная поэма первой трети XIX века, написанная в стилистике грубой народной эротики, но в каком смысле следует понимать сравнение с Карташевым?

В эротическом контексте Серебряного века Антон Владимирович Карташев (1875–1960) может быть упомянут только в связи с его принадлежностью к т.н. «младшему гнезду» тайного братства Мережковских⁶. Ремизов мог знать об этой давней истории, поскольку его супруга Серафима Павловна входила в число «посвященных» и время от времени участвовала в собраниях этой группы. Но мог и не знать. Члены группы давали клятву о неразглашении тайны, да и вряд ли в интересах жены было рассказывать мужу подробности этого необычного союза. В пользу последней версии свидетельствует один из черновых текстов Ремизова: «Антон Владимирович Карташев и Василий Васильевич Успенский, пара: Карташев постный “шкилет”, Успенский – налитой “теля”. <...> Они ходили неразлучно – для оттенка. Оба студенты Духовной Академии Александро-Невской Лавры. На собраниях в Религиозно-философском обществе на них показывали пальцем: “непорочные девственники”. Среди передовых всякие “семейные устои” были о ту пору объявлены “буржуазным предрассудком” и всякий старался чем-нибудь отличиться. А вот на тебе: блюдут по заповеди “Домостроя” попа Сильвестра» [8, с. 226]. Раз Карташев для Ремизова своего рода символ «непорочной девственности», значит, сравнение эротической поэмы Шмелева с Карташевым является свидетельством ее неудачности. Целомудрие для эротического жанра – серьезный недостаток. Это в какой-то мере подкрепляется и другим упоминанием Карташева в ремизовских текстах. В книге «Взвихренная Русь» Ремизов рассказывает свой сон: «...мы живем в Зимнем дворце, там же и Иванов-Разумник. У меня в комнате замечательный ковер – красный пушистый бобрик. Карташев читает свою драму о кофе – “карташовский кофе”: первый кофе – настоящий, а когда воды подольют – “карташовский”. Бывшие царские лакеи обносят кофеем. Отхлебнул я – кофе карташовский! Карташев читает драму» [6, с. 152]. Карташевская эротика, как и его кофе, – не

⁶ Подробнее об этом: История «новой» христианской любви. Эротический эксперимент Мережковских в свете «Главного»: из «Дневников» Т.Н. Гиппиус 1906–1908 годов / вступительная статья, подготовка текста и примечания М. Павловой // Эротизм без берегов: сборник статей и материалов. М., 2004. С. 391–455.

настоящие. Примерно такой смысл можно извлечь из как бы случайного упоминания имени Карташова.

Рассмотренный эпизод иллюстрирует одну методологическую проблему, имеющую отношение к изучению литературы Серебряного века, да и других ярких периодов отечественной культуры. Те писатели, которым в молодости посчастливилось прикоснуться к уходящей великой эпохе, внедрили в общественное сознание идею о чуть ли не принципиальной непознаваемости «русского ренессанса». Тот, кто, по знаменитому выражению В.Ф. Ходасевича, не дышал «воздухом символизма», не может осознать всю глубину этого феномена. Если отвлечься от специфических коннотаций «воздушной метафоры», то станет понятно, что речь идет почти исключительно об информации. Что знали они о своем времени, и что знаем об этом мы? Априори считается, что современники знали больше. Н.А. Богомоллов, рассуждая о качестве критических статей В.Я. Брюсова, замечал: «Он знал не только то, что знаем по большей части мы, – лежащие перед глазами тексты, – но и множество закулисных обстоятельств, влияющих на творчество иногда едва ли не сильнее, чем собственно творческие соображения»⁷. Все это так. Но надо учитывать, что за последние несколько десятилетий было опубликовано и введено в научный оборот большое число так называемых «человеческих документов» – писем, дневников, воспоминаний, содержащих часто совершенно закрытую для современников информацию, или же информацию, известную в свое время очень узкому кругу «посвященных». Можно предположить, что современный исследователь культуры прошлого даже более осведомлен о «закулисных обстоятельствах» изучаемой эпохи, чем сами творцы этой культуры. Рус-

ский Серебряный век, продолжившийся какое-то время в эмиграции, с его пристрастиями к «жизнетворчеству», игровым формам культуры, тайным обществам, настоящим и пародийным, в этом смысле особенно показателен.

Литература

1. И.А. Бунин: Новые материалы. – Москва: Русский путь, 2004. – Вып. 1. – 584 с.
2. Ильин, И.А. Собрание сочинений. Переписка двух Иванов (1935–1946) / И.А. Ильин. – Москва: Русская книга, 2000. – 576 с.
3. Ильин, И.А. Собрание сочинений. Переписка двух Иванов (1947–1950) / И.А. Ильин. – Москва: Русская книга, 2000. – 542 с.
4. Кодрянская, Н.В. Алексей Ремизов / Н.В. Кодрянская. – Париж: [Б.и.], 1959. – 328 с.
5. Резникова, Н.В. А.М. Ремизов. Начало 50-х годов / Н.В. Резникова // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции. – Москва: Республика, 1994. – С. 82–87.
6. Ремизов, А.М. Взвихренная Русь / А.М. Ремизов // Ремизов А.М. Собрание сочинений. – Москва: Русская книга, 2000. – Т. 5. – С. 3–420.
7. Ремизов, А.М. Мышкина дудочка / А.М. Ремизов // Ремизов А.М. Собрание сочинений. – Москва: Русская книга, 2003 – Т. 10. – С. 3–176.
8. Ремизов, А.М. О понимании / А.М. Ремизов // Алексей Ремизов: Исследования и материалы. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1994. – С. 225–230.
9. Седых, А. Далекое, близкое / А. Седых. – Нью-Йорк: Новое русское слово, 1962. – 268 с.
10. И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Роман в письмах: в 2 т. – Москва: РОССПЭН, 2003. – Т. 1. 1939–1942. – 760 с.
11. И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Роман в письмах: в 2 т. – Москва: РОССПЭН, 2004. – Т. 2. 1942–1950. – 856 с.

Рецензенты: С.Ю. Баранов, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой литературы ВоГУ, Л.В. Егорова, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры английского языка ВоГУ, Н.Н. Постникова, кандидат филологических наук, редактор редакционно-издательского отдела ВоГУ.

Yu.V. Rozanov

A.M. REMIZOV'S CENTURION: TEXT AND CONTEXT

The article discusses A.M. Remizov's *Centurion* memoir essay, which is dedicated to the memory of I.S. Shmelev in both content and poetics aspects. Particular attention is paid to the context of the essay, which includes specificity of personal relationships between the writers and some little-known realities of the literary life of the Russian emigration in the postwar years.

«First wave» of emigration, cultural and historical context, commentary, irony, Russian literary language.

⁷ Богомоллов Н.А. Жизнь среди стихов. Валерий Брюсов – критик современной поэзии // Богомоллов Н.А. Русская литература первой трети XX века. Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск: Водолей, 1999. С. 260. Подобные суждения встречаются в ряде современных исследований культуры Серебряного века.